

В «Архипелаге ГУЛАГ». А. И. Солженицына
этому острову (он находится в Александровском
районе нашей области) посвящено всего несколько строк.
Автор «опыта художественного
исследования» не остановился подробно
на его трагической истории
то ли из силу нехватки информации, то ли в
соответствии со своим замыслом: нужно
было что-то излагать кратко,
иначе книга попросту не вместила
бы массу подобных фактов...
Витольд Донатович Славин —
выпускник Томского университета, историк,
археолог. Он известен читателям нашей газеты
по мрачеведческим публикациям.
Славин побывал на острове в 60-е годы
и записал свидетельства окрестных жителей.
Он подает услышанное им в форме
рассказа, но рассказа, основанного
на подлинных свидетельствах.

МЛ 26/5, 18/9, 25/5
1982

Витольд СЛАВИН

ЗАЯЧИЙ ОСТРОВ

MОЖНО? Здравствуйте! — сказал я худому мужику в потертом военном кителе, сидевшему за дощатым канцелярским столом. — Вы будете председатель сельсовета?

— Так, однако, я буду. А что? — он с заметным интересом охватил взглядом мою неказистую «справу», прожженный берет, фотоаппарат, компас на ремне и заветную бумагу в руке.

— Я — начальник отряда Среднеобской археологической экспедиции... — зачастил я, самоутверждаясь и стараясь хоть как-то складать впечатление от своей внешней непрезентабельности и молодости. — Надо заверить Открытый лист Академии наук.

Как фельдъегерь пакет, выдернул свою «верительную грамоту», протянул председателю. Тот неспешно-недоверчиво принял бумагу левой рукой (правый рука был пуст), прочел. Дойдя до строк, каковыми предпроверялось «всем органам Советской власти» всячески содействовать мне во имя высокой Науки, мужик мимолетно ухмыльнулся, спросил:

— А отряд-то твой где обретается?

— Там, — бросил я, указав на окно, за которым виднелся напарник Володя, подпирающий угол сельсоветской избы и коротавший время за «сибирским разговором» — кедровыми орешками.

— Ага. А остальные где?

— ...
— Да вы че, двое, что ли? Чего ищете-то?

— Я объяснил как мог. — Вы, паря, у нас-то, под Назином, навряд ли что найдете от старинных людей. Здесь ране-то, однако, никто не жив, разве что остатки. Это вот повыше, в Вертикосе, место имеется, где Ермак клад, говорят, зарыл, чтоб с союзным остаткам боятрем не делиться. А у нас — нет. У нас тут —

болота да урман по ярам. Памятники? Каки памятники? Могилки, что ль? Есть могилки... х-г-м... А-а, не эти? Где древние люди жили, либо хоронили? Нет, не припомню... Стариков надо бы спросить, да все в разбеге — кто где: на пlessах которые, кто косит, кто и вовсе помер.

Председатель сунулся в несгораемый шкаф из тонкого листового железа, извлек из него пустынных недр развалившуюся коробочку с лиловой подушечкой, дыхнул на печать, прихлопнул ее на обороте Открытого листа. Некоторое время удовлетворенно созеркал свежий оттиск, потом клюнул пером чумазую непроливашку, размашисто расписался. Задумался, заскреб в щетине подбородка концом ручки.

— Ну-да... Помощь оказывать, говоришь... А каку помощь надо-то?

Последние сутки мы погодали: сухой пакет кончился, а варить на почтовом котелишке, сердобольно забросившем нас в Назино, было негде. Потому я сразу поинтересовался столовой и магазином. Председатель весело откинулся на спинку деревянного «кресла», сбил кепку на затылок, хохотнул:

— А нету, ребята. Столовой, говорю, нету. Зимой-то бывает другой раз, когда лесозаготовители на участке пластаются. Нынче вообще не будет — не рубят лес почто-то: далеко плавить,

наверно. Оно-то, конечно, и к лучшему: народишку бойкого поменьше, — но столовой нету. Да и не для кого: свои-то дома, им ни к чему. Так вот. Лавку Маша-продавица тоже прикрыла: на два дня, поди. За хлебом в Александровское подадась на «Рыбнадзор». Как прошлогод скорела пекарня-то наша вместе с пекаркой по пьянике, так вот и возим: то сами на чем попадя, то, глядиши, вертолетом с райцентра,

либо с Каргаска доставят. А так-то, почитай, в магазине и торговать нечем. Летом вино не продают почти: сухой, сльышь; закон. Только вот и товара что хлеб да курево, да телогрейки, сапоги с керосином. Потом, и людят-то в селе почти что нет сейчас — пущина... Вы вот что, паря: подождите, как Маша-продавица приедет, провиант и подкупите. Ночевать в сельсовете, в конторке можно — где «секретарь» написано. Пока чем ни то подкормитесь: рыбешкой, сухарями — помогу ма-лько, крупка-лапша, поди, у самих есть. А-а, ну, коли торопитесь — дело другое. Тогда вы вот что: пока рань, по селу, по избам, пройдите. Кто если из хозяев дома, дах съестным разживетесь: хлеба малость, сухарей ли, а то где и картошки: у кого есть — всегда прода-дуть. А то вот еще что, сплывите-ка вы на остров, через протоку — видали? Там в тальниках зайцев тьма, ружье-то есть, поди? Ну, вот — с мясом будете. Подкопите, подвяжите в запас. Я бы и сам с вами-то, но баба с парнишком на покосе ждут. Вверху это, не по пути. Я облас- вам дам — на весь срок, только с воз-вратом. На нем и сбега-ете. Да и по Пане-реке на нем сподручно. Умеешь на облас-то, не сковыр-нешься? Ну и дело... Что «почем»? Облас-то? Да ни почем, так даю. В порядке содействия, как в тво-ей бумаге написано. Да у меня: один на покосе, другой — вон, под яром, к лодке привязан. Там и гребь. Берите, а как вернетесь с острова — в сельсовет сбегайте. Я то уеду, а в сенках вам бредешок положу да харчей туток. Замок у нас для близирия, не закрывается. Последнее время чужих мало, не пасемся особо.

Ну так, ребята-экспедиция. Работайте, найдете что — загляните, расскажете, как тут люди до-прежь нас жили. К сентябрю народ-то собирается, все послушают.

Вышел я на крылечко, оглянулся вокруг. Длинная — километра на четыре — единственная улица не обнаруживала никаких признаков жизни. Ни палисадничков, ни кустиков, ни деревьев — ничего. Сильно страдает от гнуса северный луг: тайга — вот она. Потому и жмется долгий ряд изб к реке, потому и выводится под корень всякая растительность в селении, чтобы было где гулять речному свежему ветерку, прижимающему к земле крылатую нечисть, напрочь разгоняющему ее.

Покатились мы с Володей мелкими шажками по петляющей тропке с по-рядочной высоты яра к урезу обской воды, где вкрадчиво-страстно похлюпывали короткие волны о борта председательской лодки, баюкая приторченный к ней обласок. Челнок оказался довольно вместительным: мы погрузили свои манатки, уселись сами, приплывав лодочку бортом к берегу, упервшись в глинистое

дно веселком-гребью со слегка выпнутым пером и резной поперечной рукоятью. Над водой осталось еще сантиметров пять борта — ничего, живем. Плыть можно, хотя бы и по Оби, не то что по протоке ее — широкой, что нешибко стрежевой.

Древние мудро придумали долбленико-облас: узкий и легкий, с изящно устремленным вперед и вверх носом, сухим ивовым листом ходко скользит по воде. То плавно сползает со взгорбившейся ее поверхности, то взмывает по встречной волне, повинувшись малейшему шевелению изогнутой лопасти...

Минут через десять остров — Заячий остров, словно в устье Невы, — надвинулся на нас длинной пещаной стрелкой. Она незаметно переходила в крутоватую дугу берега, сплошь почти затянутого низеньким, пластино-синеватым тальничком, из которого там и сям торчали перекрученные ветрами и паводками темные тела ветел...

Десятки, может, сотни совсем таких же обрывков плоской поймы осталось на всем длинном пути Оби.

Наши остров — такой же во всем, кроме размеров: верст шесть в длину да с четвертью того в ширину. Пожалуй, что повыше иных: видно, наткнулась когда-то река на бугорок, прорезать его поленилась, обошла, глубоко врезаясь в скаты, намыла пойму с плоским холмиком ниже по течению; здесь, на не затопляемом останце, трепетно погибали зеркальцами листьев несколько серебристых тополей. Туда, к этим нешибко высоким, но стройным, каким-то чистым деревьям, мы и нацелились, втянув подальше на песчаный язык наш осиновый кораблик.

Перекурили, шагнули с песков на ярко-зеленую баухому приречной молодой осочки, двинулись в глубь большого Назинского, Заячего острова.

Не знал я тогда, что есть у него иное название, ведомое многим моим землякам больше по слухам, а то и вовсе не ведомое, тайное. Оно открылось мне значительно позже, а пока что мы, окрыленные надеждой на добчу, сыйный обед, опьяненные отрешением от «жизни градской», обласканые солнышком и ветерком, придавившим к земле летучих кровососов, споро вышагивали от ветлы к ветле.

Голова Володи вывел меня из размышлений: «Однако, землянка! Посмотри, на «линзу» похоже!» Линзой у нас называется заметное глазу, оплившее, с пологими краями углубление в земле от давным-давно разрушившегося жилища, потому я сразу метнулся на зов. Действительно, была она, эта самая линза, да не одна (потом я насчитал их пятьдесят три штуки). Но что-то глубоковаты для средневековых, хотя края сильно оплыли... И потом — количество! На древних поселениях бывшие жилища исчисляются единицами, в лучшем случае их полтора-два десятка, а здесь... Закравшееся сомнение усиливалось не понятной ориентацией углублений, беспорядочной их разбросанностью, каким-то разнобоем в размерах и форме (круглые, почти квадратные, просто вытянутые ямы). Чутье подсказывало: что-то не то, видимо, «позднитина» (любили мы по-

кокетничать «доморошенным «полевым» жаргоном). Но — правило есть правило. В одной из выемок мы заложили две узенькие траншеи, перпендикулярно одна другой (так по методике: по возможности следует избегать серьезных вторжений в конструкцию памятника). Надлежало проверить, есть ли в «землянке» следы жизни человеческой (то, что зовется у нас «культурный слой»).

Несуразица началась сразу: культурного слоя не было! Под опавшим прошлогодним листом, затянутым пленкой ила от нынешнего разлива, — десятисантиметровой толщины прослойка того же ила, оставленного паводками прошлых лет, и — «материк»: синевато-зеленая вязкая глина пойменных отложений. Выходит, углубления естественные? Но как тогда быть с явной преднамеренностью их сооружения, с неким тяготением друг к другу, с массой неуловимых признаков, которые невозможно объяснить словами, но которые убеждают: человек руку приложил? К тому же в слое ила, на поверхности «материка» — проржавелая железка, позеленевший нательный крестик и оловянная пуговица, каких не выпускает цаша легкая промышленность. Надо было проверять еще. Подстегивал любопытство, пробудился азарт, да и методика археологических разведок требовала этого.

Шурфы, заложенные в трех разных местах, дали совсем другие находки. Пошли кости. Сначала мелкие, вроде птичьих или заячьих (первое, что напрашивалось), потом — длинная, похожая на кость предплечья. Тут же — два-три черепка от глазурованного горшка. Все ясно: современность или почти современность. Мало ли народа заплывало сюда на косьбу, на рыбалку, забредает зимой по всяким домашним нуждам — тальник нарезать, зайцев погонять. Последняя «закопушка» выдала тазовую кость — желтоватую, крепкую, совсем не древнюю. Что ж, тайга — это тайга. Всякое бывает. Стало не по себе. Вернемся — скажем, сельсоветчику, пусть принимают меры соответствующие органы.. Засыпали и заровняли шурфы и траншеи, воткнули отесанные колышки-реперы в места находок. Все. Наша миссия окончена, нет здесь памятника археологии. Надо идти дальше. Для очистки совести обойдем остров, вернемся к обласке — и обратно, в Назину, добывать хлеб насыпной.

Чем ближе подходили к серебристым тополям, тем отчетливее слышались звонкие ребяческие выкрики и вопли. Они то удалялись, то приближались, но все время оставались где-то в одном месте. Наконец тальниковы заросли оборвались, мы вышагнули на веселенную зеленую полянку, за которой столпились те самые тополя. На песчаную отмель недалекой речной лагунки были вытащены три больших обласка, к толстой прибрежной ветле прислонены литовки. По полянке носились человек шесть паданов. Еще двое попрыгивали у противоположных ее краев. Понятно: откосились — теперь футбол: в него играют везде — от Амазонки до Ледоноитого океана. Мы подтяну-

лись к тому же, каждый втайне надеялся как-нибудь обойти приказ (с Федором, по-свойски, когда « власть » уедет; так делали всегда, еще до «питетской заварухи»). Кабы еще не солдаты — тогда и вовсе бы разговору не было: убег в тайгу за пушиной, а там ищи-свищи до весны! Да и то: куда бабы ли, детишки ли сосланные зимой в тайге денутся, какую особую беду принести могут, хотя и «сплататоры» да варнаки?

Все же, после шума и ругани, разнарядку составили, караулы распределили. Какое-никакое оружие имелось у каждого. Начальник еще раз наказал сельсоветчику и часовым: ни в коем разе не допускать выхода ссыльных с острова, пресекать любые их встречи с местными! В нужных случаях («при неподчинении и попытке к бегству») было позволено стрелять. Ошарашенным таежникам, за десять лет отвыкшим от стрельбы по людям, втолковали, что идет война не на жизнь, а на смерть, хуже гражданской. Либо — мы их, либо — они нас, а потому нечего и маяться угрызениями совести. За каждого линквидированного врага мировой пролетариат и товарищи Сталина только спасибо скажут. Подумали мужики: может, и верно толкует; грамотный, сидит высоко — ему виднее. Опять же угодьями с чужаками делиться накладно, мало ладной земли-то у нас тут.

Подумали так, махнули рукою — и примирись, хотя и чуяли задним умом некую неправедливость содеянного.

Шло время. На острове стались тонкие дымки над кое-как сварганными кровлями-шалашами неглубоких землянушек, шастали туда-сюда люди — видимо, пытались обустроиться, пережить зиму. Сменяли друг друга подневольные охранники на назинском берегу, изредка постреливая вверх для острастки (патроны были не свои — казенные). Мужики похитнее приспособили к нелюбимому этому делу сынов, сами подались на Тым, на Кюевский Еган — промышлять. Изредка солдаты, оставленные близко порядок, поочередно совершили обход острова на лыжах: нет ли следов беглых. Поначалу не было, но ранним декабрьским утром поймали двоих — парнишку с девчонкой (домой, виши, собирались — на Алтай); завернули обратно. Худущие оба, в ремнях — видать, голодно — стало в островном поселке. К сельнику число дымков

Начальник каравана сплавал в село еще раз, оставил до будущего лета еще двух солдат для руководства местными каравальными. Федору, как местной рабоче-крестьянской власти, было велено составить разнарядку и обеспечить круглогодичное дежурство односельчан у реки — «для обеспечения строгой изоляции кулацкого элемента». Мужики восприняли новую повинность со скрытым недовольством: срывался зимний промысел; но ничего не поделаешь.

над ним заметно поубавилось, зато с берега, обращенного к селу, все чаще стали слышны крики, взвыавшие к милосердию и молящие «соседей» о помощи.

Не выдержали назинские бабы, собрали — кто что — из провизии, одежки, загрузили ручные нартушки, отправились было к страдальцам. Но крепко соблюдали присягу бойцы охраны, свято исполняли приказ. Остановили (сход к реке был один), отобрали все, накостыляли по шеям да еще пригрозили сообщить куда следует. Притихли бабы, лишь судачили меж собой, жалостно вздыхая, пытаясь понять дальний смысл происходящего. Не понимая, пилили мужей, вернувшихся к рождеству да крещению (старый стиль был еще по-прежнему силен в северном обиходе)...

К февралю совсем уж реденькой стала сетка дымков, а на льду протоки чуть не каждый день появлялись ползущие к яру или уже застывшие фигуры... Охранники, осатаневшие от безделья, возвращали живых пинками и прикладами, да еще заставляли волочь на себе замерзших. Вели себя бойцы вольно и лихо, рискали в поисках браги, либо «казенки», портили девок (пытались, не разбрав, посягнуть и на Федорову молодуху, да та взялась за берданку), спали, охотились за «кулачком». Кое-кому из деревенских парней, заменивших почти всех отцов на сторожевых постах, такая жизнь пришлась по нраву. Как-то сама по себе сколотилась постоянная караульная группа; разнарядку похерили.

Под весну уже добралась — таки с острова к подъему высокая тощая баба, закарабкалась по тропинке, опираясь на тальниковую тычку, втаскивая за собой малычишку лет восьми. То ли притупилась бдительность у стражей, то ли пьяны они были более обычного, только столкнулся с беглянкой один из воинов уже на самом верху. Загородил дорогу, вскинул винтовку. Заголосила баба, указывая на съежившегося птенца своего — но

тищетно. И тогда выпустила мать сыновью руку, перехватила поудобнее кол — и ринулась на солдата... Два выстрела положили всему конец.

После этого случая ползущих стали просто пристреливать: все равно подохнут. А то, ишь, на часовых кидаются.. Трупы стаскивали к далеко выступающему мысу, под которым крутилась незамерзающая воронка

(она и сейчас стремительно всасывает бурную глыбистую взвесь обской воды; стояли мы над нею, снявши шапки, равно над братской могилой).

...Говорил нам Степаныч, давясь пьяными слезами, что во сне видит уставившиеся в небо глазища убитого мальчишки.. После этого начинается у него запой!

— А вины-то ить нету моей, не-ету! Ково бы сделал-то? Сам под пулю?

— В лето 1931-го, в четырнадцатое лето новой жизни, остров затих совсем. Невесть откуда взявшееся воронье обсело вершинки молодых тополей в северном конце, временами срываясь с них вниз, за стену берегового кустарника. К июлю исчезли и вороны. Несколько отважных женщин с молчаливого согласия оставшихся без работы охранников «сбегали» на облаках через протоку — подкосить летятам свежей травки на островном заливном лужке. Вернулись смурные, не поднимая глаз.

Больше туда не ездил никто. Видно, с той поры и начали плодиться на острове непуганные зайцы, нашедшие там после разлива безопасное убежище. Буксир, притаившийся в сентябрь паузок с малым запасом продуктов и инструмента для ссыльных, был уже никому не нужен, кроме двоих «штатных» стражей, отпливших на нем из села. Знакомый старый речник не в силах был рассказывать об увиденном им в «месте размещения СП». Лишь повторял: «Такое только на фронте бывало, после боя.. Или когда каратели... после них. Одним словом, Остров Смерти..».

Через год Обь-матушка унесла, забросала песком следы преступления, солнце спрятало их в ярко-зеленой траве и молодой тальниковой поросли. Все вроде стало как прежде, будто и не было ничего, словно зайцы от века сигали стайками во все концы вылезшего из воды клочка суши. Люди же помалкивали, угнетаемые страхом, стыдом и болью, детям своим наказывая держать язык за зубами. Война обезлюдила село, унесла многих свидетелей и участников ненужной жестокости и позора. Все как будто бы забылось, но каждую весну проклевываются ростки крапивы-лебеды из костей безвестных алтайских крестьян, из их последних бесформенных жилищ. Тянутся к свету, крепнут серебристые тополя, видевшие давнюю трагедию, напоминая о страшных днях. И живет подспудно в памяти людской иное, тайное на-

* * *

Что-то замешкались мы с Гурьянном Андреичем на этой самой глухариной

охоте. Поначалу все складывалось удачно: скрдывали тихо, и к яру с камешками, которые эту пору склевывают птицы, скрыто подобрались вдоль залома. Надо же было Гурьяну не выдержать — смахнуть комара, утнездившегося у него на лысине (шапку еще зачем-то снял)! Задел ветку елочки, легкие колебания спугнули близнюю копалуху, она взорвала крыльями воздух.

За нею улетели петухи. Впрочем, особой досады нет: приварок к каше мы еще добудем, а холодная сентябрьская красота, утренняя желто-розовая тишина так хороши, что и не надо-то больше ничего! Стали «чаевать», да вот уже часа полтора занимаемся этим — точим лясы обо всем и ни о чём. На станок возвращаться неохота, разомлевши от воли простора, ну и Володя с Иваном пусть поспят: накануне полдня тянули лодку бечевой по запутанным рукавам приступкой «лавы», утомились.

Пятьдесят четыре года Гурьяну Андреичу. Он невысок, плотно сбит, погрустив и стремителен в движениях. Так и должно — охотник-профессионал, его ноги кормят.. Багрово сияет под солнцем лысина, именуемая им «комариный ерodom». Воинственно торчат над висками и на затылке остатки былых роскошных кудрей, русо-бронзовая борода обложила лицо мелкими тугими колечками. Белозубая, чуть щербатая улыбка. Усы вразлет, невыразимо задорный курносый нос. Небольшие ярко-голубые глазки смотрят уверенно, самостоятельно и слегка иронично, с неким философским отверском. Гурьян не курит («шибко вредное баловство»), но попивает, другой раз крепенько. Фронтовик, имеет две «Славы», «Звездочки» сорок первого года (он ею очень гордится), медали.

Истово верит в какого-то своего бога:

— Сохраня сила есть. Всю войну пехтурой прошел, во всех переделках побывал, под Москвой роту нашу как есть поубивало, а я, веришь, не ранен, не контужен ни разу! Которые дак толкуют: повезло! Не-е, это все сила сохранила, до войны еще меня осенила! Мать, поди, покойница вымолила!

В проводниках он у нас уже не впервые, но сдружился со мной только в этом полевом сезоне, как-то вдруг, после того,

как я непонятным образом срезал влет с лодки сразу двух чирков из гурьяниной прелестной «бельгийки» и обеспечил ужин нашему отряднику. Чирок — самая быстролетная утка, и вот «Зауэр три колыца» перекочевал мне на плечо, а Гурьян стал моим постоянным напарником в «боковых маршрутах» и походах за пропитанием (возможно, нутром почувствовал родственную бродяжью душу).

...Беседа крутилась вокруг таежной жизни, изменений, которые принес с собой нефтяной бум; потом перешла на меня, на археологию, на пройденные экспедиционные пути. Между делом я упомянул и о назинских событиях времен колхозификации, не предвидя последующей реакции собеседника.

— Хэ! Остров Смерти!

...После высадки на острове и краткой, но впечатльной речи уполномоченного, сводившейся к тому, что народная власть по доброте своей дает возможность своим врагам перевоспитаться в коллективном труде и, может быть, заслужить грядущее прощение, люди были предоставлены сами себе. Обнаружили, что в суматохе поспешных сборов, в растерянности и страхе перед неясным будущим не захватили никакого инструмента, да и с едой было плохо: десять мешков ржаной муки, два чуваши с пшеницей, три-четыре бочки с селедкой — на все про все, на всю зимовку трех с половиной тысяч человек! Правда, начальник посыпал прислать еще обоз по зимнику, в декабре... терпеть надо.

Три топора без топорищ нашлись все же у запасливых стариков, кто-то из них же спрятал в узле с трапками заступ без рукояти. Можно сказать, отстроились: вырыли в незадубевшей еще земле мелкие ямы (заступом, заостренными кольями, наскоро сработанными подобиями деревянных лопат), поставили конусовидные кровли из жердей, обложили их дерном для тепла. Верховодили в этих делах старики; они же сразу и распределили скучный запас пищи по едокам, учитывая, сколько у кого малышей. Другая беда: погнали в чем есть, теплой одежки считай что не было. С этим как-то мирись: как могли кутали детей, сами — как-нибудь.